

1. Пастушокъ

Пятнистый красно-пегий телёнок едва виден в зелёных овсах. Бычок поджинает колоски живым розовым языком. Мыкает мордой в гляцевитые стебли овсов, сочно перемальывает зелень. Зелёная крупка мокро пузырится в слюнявых губах телёнка.

Бродит красно-пегий бычок в зелёном море овсов рядом с полевой дорогой. Я намеренно покинул автобус, не доехав до деревни Егоровка.

Ушёл с тракта на колчеватый просёлок, сухо белеющий пылью, присыпанный прошлогодней сосновой хвоей. Просёлок прижимается к светлому сосновому бору, тянется эта полевая дорога далеко, до самых покосов. Земля изрыта копытами коров деревенского стада.

Бычок покосился в мою сторону. Страхнул едкого мокреца с бурых ушей, вылупился тёмными глазами в долгих белёсых ресницах, потянулся к человеку и заревел: «му-у-у?» Отревелся, изогнулся становищем, порыл безрогим лбом белый пах под брюхом, успокоился и продолжил кормиться. Время к полудню, и солнце жаркое. Стадо коров прошло недавно прохладным сосновым бором, пастух просмотрел телёнка. Городскому человеку не ведомо, что «зелёнка» скотине смерть. А пасущегося красно-пегого бычка в зеленях хоть сейчас на холст художника.

Я подобрал сухую ветку и выгнал неразумного теляти из зеленей. Взбрыкивая задом, задрав хвост трубой, бычок скачками пересёк дорогу и бегом углубился в бор. Высокие травы, заметно промятые проходами и копытами животных, и по следам стада пегий бычок найдёт свою матку. Сам в этих местах деревенское стадо коров пастушком водил. Как же это было давно.

Перед обеденной дойкой стадо делается ленивым. В это время мы с Полелеем где-нибудь под берёзой сидим. Полелей пристаёт:

– Дай квасу...

Фамилия такая у пастуха. Звать Николай.

У него свой квас в бутылке в холщовом пастушьем пестерке на ляжке, но просит он квас у меня. Клянчит всегда на первом привале за деревней, когда стадо сбавляет ход и принимается за работу. Квасу мне не жалко, но бутылка у меня одна. Мне восемь лет. Я на летних каникулах у бабушки Христины в Егоровке. Сегодня очередь нашего двора помогать нанятому пастуху пасти деревенское стадо. Обычно это дело подпасков, в каждой деревенской семье есть подростки.

– У тя же свой есть квас?! – делаюсь я непонятливым.

– Жалко? Значит, жалко, – вздыхает Полелей. – А ешшо – племянник! Все вы так, городские, муху из шчей за крылышки выкидываете! А деревенский человек он щедрОй! Ложкой – муху вместе с шчами выплескнет. Вот и батька твой: с чакушкой приедет, а неделю бабкину самогонку дришет...

За самогонку власти штрафуют. Дядя Володя, младший брат отца, работает на мельнице в Зимнике, гонит он скрытно первач на древней Павловской заимке, далеко в тайге, хоронясь от чужих глаз. Отец приезжает в деревню раз в год: берёт отпуск в конце мая на Канской табачной фабрике, где работает кочегаром, и везёт меня на свою родину, в деревню Егоровку, где он родился и вырос. И конечно, с братом Володей пьёт. У Полелея в жёнах батина родная сестра Танька. Поэтому я племянник Полелею.

– Дай махры, – подкатываюсь осторожно. – Тогда и квас получишь!

Все подпаски покуривают. Полелей мужик квёлый. Опасаться его нечего, не продаст бабушке. Худющий, правда, как прут, будто Танька его не кормит. Зубы гнилые и чёрные от махры. Нос вислый и с широкими ноздрями. Картуз натянет до бровей и посмеивается над подпасками, округляя озорные и без того весёлые свои глаза. Чуб редкий, залысина светится. Уши, как у летучей мыши, торчком в разные стороны, шея зобастая, чёрная от загара и грязи под белесым пушком. Редкая шетина на подбородке, будто рыжая махра. Совсем заволохтел мужик. Глянeshь на него, так и курить хочется.

– Не жрамши с утра. Танька на дойку чуть свет убралась... – подкрадывается Полелей к салу и ржаным пирогам с картошкой в моей котомке.

Рядом в березняке кукушка кычет: «ку-ку», «ку-ку», горлом стонет зозуля. Зуд от комаров – воздух шевелится. Махорочным дымом только и спасаемся.

МеняемсЯ с Полелеем: ему мою котомку, он мне свой кисет с махоркой.

– Свертать-то смогёшь?! – щерится чёрными зубами. – На-а, гумагу-то!

Полелей достал из нагрудного кармана рубахи складыш из газеты. Опыта вертать самокрутку у меня маловато, но козью ножку – на указательном пальце, скручиваю лихо.

– Не сыпь на землю махру-то, весь кисет изведёшь... – ворчит Полелей. Он подтягивается на руках спиной к стволу берёзы, запрокидывает бутылку с квасом.

– Глок! глок! глок! – глыкает горлом.

Я отворачиваюсь: опустошил бутылку, варнак.

– Зачем весь-то выдул? Договаривались, на глоток, – отдаю Полелею кисет.

Полелей, шкодливо хихикает, напоминая, что в деревню бежать мне придётся. Водим скот по березнякам мы с ним не впервой, история с квасом всегда повторяется. После курения во рту горчинка и хочется пить теперь уже мне.

– Дай твоего квасу, – канючу. – Ведь договаривались же, штаб не весь мой квас. Выдул... – обиженно дуюсь.

Полелей хитрый, свой квас в бутылке держит в пастушьей холщовой сумке. Пока я курил, он умял и мои ржаные пироги с картошкой под сало, какие бабушка положила работнику.

– Так моей махры зато покурил, – доволен он. – Мне у бабки квасу нальёшь? – просит Полелей. – Тогда дам квасу, хошь весь пей.

Квас у Полелея не то, что у бабушки: незрелый какой-то, вода водой с тухлинкой. Бабушкин квас из берёзового сока. Брат Пётр в мае подсачивает берёзы, и сок флягами привозит в телеге домой. Выливает сок в чан, который в тёмных сенях, огромный, деревянный чан на тридцать вёдер. Из широкой кедровой клёпки в рост детского человека, в старину в таких хозяева детей мыли, сами купались – «банились». Квасу на всё лето хватает: суровец! Мне без сахара квас пить невозможно, скулы сводит: ледяной, шипучий! Не оторваться от ненасытного, терпкого напитка.

– Налью и тебе квасу, – соглашаюсь.

Стадо от деревни, пасясь, далеко убрело. Коров на водопой пастухи к озерку гоняют, близко к деревне. Полелей пригонит стадо на водопой и без меня. Рядом с покосами много озерков в низинах лугов, питаются они подземными родниками; вокруг озерков заросли черёмухи и ольхи, имеются открытые берега, удобные для людей во время сенокоса, поить скотину.

В обед бабы коров не доят. Все доярки до синего вечера в летних гуртах, на дойке колхозных коров: в пять утра уезжают из деревни в кузове грузовика, в сумерках их привозят. Летние лагеря коров у Апанских озёр. Молодняк пастухи пасут далеко в тайге.

Бежать в деревню мне лень, и я медлю. Полелей валяется расслабленно на пиджаке под берёзой. Козырек замасленного суконного картуза на глаза насунул, рубашку расстегнул до пупа, чешет нехотя впалую грудь; рубаха сатиновая в розовую клеточку давно не стирана, худоба мужицкого тела похожа на кожуру печёной картошки. Моется Полелей от бани до бани. В лесу вроде и пыли нет, а придёшь вечером со стадом, будто у чёрта на куличках побывал. Танька мужу Николаю и рубахи из-за этого редко меняет.

Валяется Полелей на спине, вытянувшись, скрестив длинные худые ноги в кирзовых сапогах. Кирзачи на сгибах в дырках, глянцевиная подошва без каблуков. Я и сам в рваных братниных штанах, верёвкой подпоясанный. В кедах. Кепка тоже великоватая, но надёжно прикрывает стриженный загривок от комаров; ношу кепку долгим козырьком назад. Зато рубаха у меня что надо – байковая – и комарам её трудно шить. Комары едят настырно, и мажемся от них дёгтем. Мало дёготь спасает от гнуса, мелкий мокрец находит места под мышками, где кровушку попить. Оттого и чёрные от дёгтя и пыли, как черти.

Полелей пастух добрый. Дёрганого человека не поставят к стаду, изведёт коров суетливой пастьбой, набегаются бурёнки. Молоко в вымени покой любит. Корову тоже с умом кормить надо. Полелей спокойный мужик. Сытно кормит скотину; каждое лето Полелей нанимается пастухом. Подпасками ходят дети, по очерёдности от каждого двора, и по числу коров на каждом дворе у хозяев. Последние годы бабушка живёт тихо. Дед умер. Младшая дочь Валентина вышла замуж. Внук Пётр живёт всё лето скотником на летних гуртах. Держит бабушка корову да десяток овечек.

– Ну, пошто за квасом не бежишь? – гонит Полелей.

– Бегу...

Гороховые поля легли долу от зноя. Зеленовато-оловянные на полуденном солнце, гороховые стебли перевиты диким мышинным горошком, который краем поля вдоль полевой дороги и цветёт алым крапом. Поля кормового гороха гудят от рабочей пчелы, собирающей нектар. Пространство дышит степным вольным простором. В деревню не миновать гороховое поле. На ходу пасусь краем гороховой посадки, набиваю тугими гороховыми стручками мощну под рубахой до брюхатости. Рядом с усадьбой деда дом его сына Володи-мельника. Детей там полная изба, есть кому гороху радоваться: старший Володька – мой ровесник, сестра Люба ещё только ходить начала, а между ними погодками Вася, Надя, Коля.

С Володькой мы ночуем на избе под тёсовой крышей. Валя Колесень рано утром кличет нас с крыши:

– Володька, сынок! Слетайте с избы, соколы! Молока надоила...

Днём мы шаримся с братом Володькой по тайге, ловим молодых дроздов петлями и жарим их на костре. Коля ещё мал с нами, а Ваську за дроздами берём в лес. В августе лазаем по кедром, сшибаем проволокой тяжёлые от смолы кедровые шишки. Таскаем шишки братишкам домой, на дворе сложена из кирпича летняя печь, в чугунке варим смолистые кедровые шишки. Смола выкипает, и орешки сами сыпятся в детскую ладонь. Дети Вали Колесень и Володи-мельника – это моя семья на всю жизнь. Любимые мои сродные братья и сёстры. На речке дружки ждут: Валерка Дёмкин и Мишка Грешников. За полями шумят берёзовые леса и перелески. Ах, как хорошо жить в детстве!

2. Ах, как хорошо жить

Ах, как хорошо жить! По тракту поднял пыль лесовоз из Почёта. От гравийного большака я ушёл порядком. За дальними зелеными, по низинам, молочно розовеет гречиха. Полуоткрытый сосновый бор светел и тенист. Жаром дышит зрелое лето. Запах гретого мёда разлит в позолоте цветущих лугов, в соснах и в густых мятных травах. «Жж-ум! Жж-ум!» – ощупывает цветочки лохматый шмель. Полянку с травами и высокий муравейник под сосной коровы и телята обошли краем. Мураши чекотят травку, бегут на работу и обратно строем по сосновому стволу, находят тропинки в золотистой сосновой коже с завитушками, тонкой, как сусальное золото. Слава богу, в Сибири не плодится

жук-ламехуза. В южных широтах этот паразит откладывает личинки в муравейник. Ламехуза выделяет алкогольные трахомы! Фермент трахомы отключает у муравьёв коллективный разум. Муравьи «хмелеют», становятся банальными «пьяницами безродными», забывают свои дела в родном муравьином королевстве и переключаются откармливать личинки ламехузы! Всё как у человеков. В муравьином царстве-государстве...

Зелёная косынка полянки полна разноцветных бабочек. Золотистый трилистник на тонких стебельках облетают пчёлы и шмели, божьи мухи подсаживаются на бархатисто-лиловые «медвежьи ушки», исследуют светло-розовый клевер, вперемешку с алым мышиным горошком. Зрелый июль. Воздух звенит пчелиным гудом. Время главного медосбора на пасаках!

Стрельчато-розовый иван-чай шевелится от рабочей пчелы, в остинках соцветий искрятся на солнце горьковатые капельки нектара. Пчела перерабатывает этот нектар в мёд в полёте до улья своей «мандибулой». Так зовётся пчелиная нижняя «губа».

У дороги вдоль бора жмётся, греется на солнышке развалистый от корня целительный подорожник, матово-зелёный и широколистный, ребристый прошвами по листу.

Полевой межой шагаю к дедовским покосам. Знакомая с детства старая берёза склонилась над тёмной водой околка, грузным своим меловым становищем накренилась от старости. Крона берёзы высоко кружится серебристой зеленью. Дерево глядится в озерко, питаемое подземными родниками, зелёная ряска на водной глади проторена утками. Почти полвека травы этого покоса кормили семью деда, отец здесь косил сено для коровы, которую мама держала, живя в городе. Травы на соседних людских покосах не тронуты косой, зреют и щедро сорят семенем. Время стрекоз. Обезлюдела деревня. И сродникам отца дедовы покосы теперь без надобности. Вымерли...

От цветов на покосах празднично. Перепархивают от цветка к цветку различного окраса мотыльки. В воздухе зуд от рабочей пчелы, шевеление пчелиное на белых, синих, розовых и фиолетовых соцветиях. Часто торчит из высокой травы трубчатая сахарная пучка, крепкая стволем для острого ножика, далеко видна пучка огромным зонтиком в виде огородного укропа. Под берёзой вольно невестится шиповник, отцветает он в июне, и ягода уже розоватая, наливается.

Деревня рядом, не более версты до покосов. С ночёвкой на сенокосе в прежние годы люди не оставались. Ехали мужики в телегах, когда ещё солнце на востоке за кромкой тайги, туман на речке и в деревне Егоровке идёт ранняя утренняя дойка, а в лугах роса. Косы и грабли от первого дня на укусах не увозились по дворам, прибирались грабли косарями в таборе, косы вешались литовками высоко на берёзовый сук. И махали мужики по росе косой так, что трава стоном ревела под острыми литовками, будто прутлом её секли: «Шик – ой! Шик – ой...»

Опустела земля без отцов. И с болью в сердце приходят на память картины жизни. И никак не смиряется сердце за уходящих летно людей. Умершие своим чередом, покинувшие лик земной, они остаются в памяти нашей своими добрыми делами. Из памяти не выкинешь отцовские крупные руки. Надёжные, работающие руки отца, тёплые и родные руки мамы. И в смертный час, когда отец, прибранный в домовину, лежал дома, руки отца остыли и стали ледяными и каменно тяжёлыми...

Неумолчно, тонко слышится комариный зуд в разлитом медовом пространстве, будто с небес он, покойный и мелодичный. Музыка в сознании возникает глубинно, тихо ширится охватом застарелой тоской по отцу, маме, брату Петру, бабушке Христине. По дедам и прадедам. По людям, жившим рядом и любившим тебя. И ты, любивший, и любишь их пока живой...

За хлебными полями берёзовые перелески. Проталины голубого неба между березняками. Воздух наполнен маревом гретого мёда. Звонко и с коленцем зорюют невидимые в густом подлеске птички. Птаха журчит хрустальным голоском, угадывается овсянка. В дальнем ельнике гомонят молодые дрозды. А из куртин дерев ближнего берёзового леска время от времени высоко взмётываются парами дикие голуби в дымчато-голубое высокое небо. И рушатся с небес в прохладу осанистых от листвы берёз.

Уже и небо остыло красками до водной мутности. И горизонт задымился угасающей узкой плоской вечерней зари. И сухой воздух стал молочно-голубым, перед тем как упасть росе. Загустела ровная синева неба. И в святой час на южном небосклоне живым светом уже мигала яркая первая звезда. А мне всё вспоминалась минувшая жизнь людей в Егоровке.

3. Подрукавный хлеб

После смерти отца далёкой стала родина родителя. От усадьбы деда в Егоровке сохранился к девяностым годам прошлого века лишь высокий дом, тёмный брёвнами, чёрный тёсовой крышей. Дом ставился первым от речки в улице, на солнечной стороне. Дом младшего брата Демьяна Павловича тоже сохранился, стоит он около века – за дорогой, супротив дедовского. Тоже первый двор к речке, изба высокая, окнами на север. Единственный двор жилым сохранился в Егоровке, не порушенный за долгий век Демьяновскими детьми и внуками. Остальная северная сторона улицы вся в пустошь ушла. Умерли хозяйева, потомки разобрали избы и вывезли срубами в Абан, в райцентр. Не схотели егоровские потомки жить на земле родителей.

Для себя, внукам бабушка пекла домашний хлеб в русской печи, из магазина покупались сахар и соль, да «мануфактура». От века так: картошки вдоволь накапывали с сорока соток земли, муку с мельницы в Зимнике привозили, солонина в холодном погребе хранилась в достатке кормить большую семью. Всё своими трудами добытое. Когда бабушка сеяла в сите муку для «подрукавного хлеба», невидимая для глаз пыльца вдыхалась медовым привкусом на губах. Мололась рожь на мельнице в каменных жерновах. Ржаная крупка, набранная из-под мельничного рукава, на вид серая и второсортная по качеству. Оттого и хлебы звались «подрукавными». На мельнице в Зимнике работал бабушкин сын Володя, средний брат моего отца. Он и привозил ржаную мучицу. У бабушки много внуков, кроме меня. Рядом двор сына Володи-мельника, там ещё пятеро ртов. Часто выпекала бабушка нам пироги из ржаной муки, ливерные и рыбные.

От речки Егоровки до Зимника прямой тягун. Грязно-красный тракт, который отсыпали время от времени пережжённой аргиллитовой щебёнкой с Гагаринского карьера. Обочь дороги дремучий хвойный лес, пробитый людьми давным-давно узким коридором. Магазин у тракта на горе виден. Огородные жерди от крайней избы, что напротив магазина, светлеют за километр хрупкими косточками в огородном плетне, выбеленные временем. Ещё до Отечественной войны мужики артельно построили из плах листовницы на речке Егоровке сливной лоток под мостом, поверх плотины для запруды, для сброса родниковых вод и ливневых дождей. Все ребяташки с Егоровки и Зимника любили купаться у этой запруды, лежать в струях воды на лотке. Пруд подле моста глубокий. Брат Пётр первейший рыбак. Он и привёз с Апанских озёр карасей и запустил в Егоровский пруд. Развелось рыбы много, мальчишки ловили карасей и голянов корчагами, рыболовные сетки ставить брат Пётр запрещал, подростков гонял.

От моста высокая насыпь дороги до дедовского дома, за ней обширный заливной луг. Далее за огородами вольная тайга уходит в болото. В окрестных лесах до самой осени полно различных грибов; растут опять на мшистых пеньках вдоль просеки, грузди в бору; полно рыжиков.

В старину тёс для хозяйских построек драли из сосны. Сосновый «боров» раскалывался берёзовыми клиньями. Отщеп дранья легко поддавался плотницкому топору. И янтарная дранка с треском отщеплялась винтом по всей длине «борова». Я помогал брату в таких делах, укладывал драньё рядками на лежаки. Ярусами укладывал на брусочные прокладки, чтобы проветривался тёс и высыхал ровной доской. Плаха пилилась в старину лучковой пилой, с высоких строительных лесов. Такими плахами был застелен пол низкой дедовской временки, где дед дневал и ночевал за шитьём, скорняжил – мял и выделывал шкуры различных зверей, шил из шкур медвежьей дохи, собачьи шапки, конскую сбрую. Под полом временки плодились крысы. Осенью дед вскрывал полы, поднимал плахи в своей временке и уничтожал гнёзда, в которых я видел махоньких молочно-розоватых крысят. Иначе никаких запасов зерна не хватало на долгую зиму. Крысы портили и конскую упряжь, вместе с поросятами жрали запаренную дроблёнку из корыта. К сенцам жилого дома была пристроена глухая кладовка, где стоял мучной ларь, хранились мешки с рожью и зерном, на стенах висели ружья, подсумки с патронами. Кладовка замыкалась увесистым замком. Брат ставил в кладовке железные капканы для крыс, мышеловку, и круглый год шла война. Дверь в кладовку подогнана плотно, без щелей, но крысы и мыши ходы и выходы находили.

Теперешние обитатели дедовского дома раскатали надворные постройки, уничтожили кузницу, разобрали и вывезли в другое место приземистую дедову временку. Убрали за ненадобностью и присадистую крепкую баню. Разгромили гумно с высокими распашными воротами. Крутился там барабан молотилки, веялось зерно после отжинок до Покрова. Покрутить барабан веялки и мне довелося в осенние школьные каникулы.

Брат Пётр в дедовом доме жил до смерти бабушки. Потом дом продал старикам Жерносекам, которые продлили век дедовской усадьбы до восьмидесятых годов. Бабушка Христина любила внука Петра больше своих детей. Родила Петра старшая дочь Дуська, нагуляла в девках, началась война, дочь бросила на руки матери грудного Петра и подалась в Тайшет на лесозаготовки. У бабушки Христины, молодой ещё тогда женщины, на руках тоже был грудной ребёнок. Родилась в сорок первом поздня дочь Валя. Выкормила бабушка грудью внука Петра и дочь Валентину.

Вырос Пётр уважительным, видным мужиком. На людях бабушку звал «маткой». Дуську Пётр за мать не считал. Степенный в речах и делах, силач, на спор валил племенного жеребца в загоне конюшни. Работал Пётр на колхозной конюшне с детства конюхом. Я приезжал на летние каникулы из Канска в Егоровку сразу же после школы, для меня брат Пётр подобрал спокойного коня гнедой масти, по прозвищу Бичук. Катался я на Бичуке верхом и без седла часто, любил коня. Помнил и меня Бичук после зимней разлуки. Верхом на этом коне я помогал брату Петру пахать деревенские огороды ручным плугом. К шестидесятому году в деревне Зимник настоящий клуб ещё не построили, электричество только тянулось проводами от столба к столбу. Школа в деревне Зимник была восьмилетней, десятилетку оканчивали дети из Зимника и Егоровки в Апано-Ключах, где для этого государство построило при школе интернат.

Таинственно и интересно было сидеть на конюшне в Егоровке, в конюховке, при керосиновой лампе, рядом с братом, в компании взрослых парней и девчат. Брат подмигивал мне, требовал от своей «распашонки»: «Научи братишку целоваться». Кружились девчата вокруг холостого Петра липучками, доверчиво «распахнутые», готовые угодить мужику во всём. Оттого Пётр и звал своих зазноб «распашонками». Доярки молодые – девки шальные, истосковавшиеся по мужской ласке. И я стыдливо сопротивлялся зрелым ласкам девчат, которые пытались меня обнять, резко отстранялся от упругих девичьих груди, увёртывался от земляничного девичьего поцелуя в губы. Брат довольно смеялся: учишь, братишка, девок любить.

4. Усадьба моего деда

Какое счастье – жить. Просто жить. Жить в неведении о жестоком мире; быть молодым, не зная ещё ничего о жизни! Всё ещё впереди, надеяться и жить. Прожить достойно короткий свой человеческий век. Трудно избавиться от горького привкуса, который оставила минувшая эпоха. Нет и дедовской усадьбы. Сохранился лишь сруб глубокого колодца, из которого черпалась дедовским ведром вода колодезным журавлём. Сохранилась дедовская изба, раздетая от построек усадьба теперь зияет открытым полем на семи ветрах. Во дворе под навесом была кузница с наковальней на высоком сосновом пне столетней давности. Просторный тёсовый навес, крытый сосновым драньём от дождей и снега, оберегал от ненастья треть двора – это пространство от кузницы до пристроенной к сеним дома кладовки. Под навесом сохранялись кошевые сани, гнутые расписные дуги и дедова бричка. Коня в личном хозяйстве при советах запрещалось иметь. Пётр работал конюхом. Конюху разрешалось брать любого коня для работы в колхозе. С улицы в воротную верёю вколотен стальной штырь с ухом, в которое продето кованое кольцо для уздечки и вожжей. Саврасый жеребец часто стоял там под седлом. Брат приезжал. Пётр позволял кататься в седле на этом жеребце. Окликал Пётр меня «братишкой», старше меня он на двенадцать лет. И шёл ему тогда двадцатый год. В августе мы с братом таскали мешками кедровые шишки из кедрача, который высился могучими стволами на дальнем болоте вдоль реки. В августе кедровые шишки ещё фиолетовые, тяжёлые от липкой прозрачной смолы. Но после варки в чугушке орехи в шишках становятся медовыми. Мешки с шишками поднимались братом на потолок избы, там кедровые шишки высыпались на брезент. Кедрового ореха хватало до нового урожая. На осенних каникулах приезжая к бабушке в Егоровку, первым делом я забирался по скобам в бревнах из тёмных сеней на потолок избы за кедровыми шишками.

Старик Жерносек и его бабка умерли. Дети продали усадьбу заезжему коммерсанту с Кавказа. Ныне на месте усадьбы временная пилорама. Пришлые мужики пилят шпалу на продажу китайцам, лес везут «чёрные лесорубы» с Бирюсы. Дом без хозяина сирота, не обжит по-людски, используется как временное жильё для рабочих. Даже и не верится, что этот дом строил мой знаменитый дед-знахарь век назад. Не верится, что в этом доме родились пятнадцать детей...

Трудно представить теперь, что на базах и в хлеву плодились и водились овцы и свиньи, вздыхала уставшая от трудов корова, целыми днями над усадьбой кружили голуби в голубом небе. Стаи скворцов пересыпались чёрной ордой на пашню огорода, не опасаясь пахаря. Брата Петра скворцы и голуби не шугались, будто ведали птицы, кто их покровитель, кто мастерит им скворечники и гнёзда. И теперь всё это осталось только в моей памяти. Из пятнадцати родившихся выжили шесть ребят и двое девчат. Всех своих детей дед принял от жены Христины во время родов без посторонних глаз. Новорождённым младенцам всем завязал пуповину суровой ниткой и обрезал от матери, давшей жизнь.

Разошлись по миру дети бабушки Христины и Василия Павловича. Прожили достойно жизнь на земле в трудах и войнах за державу, в заботах о потомстве своём. Ныне уж из бабушкиных детей мало кто остался на земле. Чернявая казачка Валя одна из всего рода и живая.

В сумерках вечера я стою у Дёмкиной избы, смотрю за дорогу на дедовский дом. За пилорамой огородная пустошь, наваленная брёвнами, обрезками горбыля. Земля разворочена тракторными гусеницами. И нет ни в чём порядка и толку. А главное – смысла...

Особенно многим числом над усадьбой деда высились когда-то скворечники. Высились они на высоких жердях по периметру уличного забора, над заплотом между усадьбой деда и сыном Володи-мельника. И парили эти игрушечные домики-кораблики – словно невесомые они и плывут в небесной дали навстречу облакам, будто в сказке со счастливым концом. Весной селились в скворечниках беспокойные скворцы, чёрные пером до угольного блеска птицы. И жизнь двора наполнялась каким-то особенным смыслом. Плугом за конём пахался братом Петром огород.

Брата я любил. К нему тянулся в деревню из города в подростках. Брат научил обращаться с ружьём, заряжать патроны, по чернотропу брал в тайгу искать белку, учил обдирать белок и зайцев чулком, напяливать эти шкурки на правило, после просушки шкурок учил снимать мездру, выделывать шкурки зверьков. Ставили с братом мы и проволочные петли на заячьих тропах, зайцев в те годы водилось много вокруг Егоровки. Научил брат и птиц ловить, показал, как мастерить из сосновых лучин птичью клетку. На усадьбе водилось много голубей. Гнёзда из досок, ячейками, рядом крепились под застрехой дедовской времянки, под амбарной крышей. Дух захватывало, когда стая голубиная взбивалась высоко в небо.

Дед во всём порядок любил. Пьяных дед не терпел, сам не пил самогон и водку, но для гостей первач не жалел. Курил дед самосад из табака, который сам сеял в огороде и убирал осенью, сушил на вешалах под крышей времянки. Брат Пётр этот табак рубил секачом в корыте, просеивал самосад на сите от табачной пыли. Из-за этого самосада брат Пётр и не стал курильщиком. Дед же смолил самосад непрерывно, не выпуская мундштук люльки из прокуренных до ядовитой желтизны зубов. Знахарь Василий Павлович Шелях жил хлебосольным человеком. А вот с родными детьми сурово обходился. Знахарем дед мой был известным и староверам в деревне Федино на реке Бирюсе, и в Красноярске. Вечно кто-то в доме деда жил на лечении, приезжали больные издалека. Одно лето привезли родственники на руках измождённую женщину: кожа да косточки – посчитать можно. Больница краевая отказалась принять на излечение от непонятной болезни. Дед поднял на ноги эту женщину на моих глазах. Утром и вечером усаживал её напротив себя за кухонный стол. Выпроваживал всех во двор. И шептал на колодезную воду в литровой медной кружке. Сидел я в такие минуты тихо, дед никогда меня не гнал, насупливал лишь кустистые брови. Шептал он на воду вкрадчиво, сухо поплёвывал на пол, себе на колени. Больная выпивала немного водицы, остальную воду нёс в кружке на двор и выливал в кастрюльку старой суке. Сука лакала эту воду. И так каждый день. Бабушка поила больную женщину парным молоком. Парили берёзой больную женщину по субботам.

Баню дед рубил из сосновых брёвен, будучи молодым хозяином. Срубил сруб для бани с низким потолком. Высокий и широкий полок разместил вдоль глухой восточной стены; южная стена бани выходила низким оконцем на двор усадьбы, за влажным стеклом виделся во дворе колодец и железная труба от колодца к бане. Семья большая, ведрами воду для стирки и мытья на руках не натаскаешься, подавалась вода в баню самотёком. Журавлём доставали воду из глубокого колодца кованым ведром, в которое умещалась вода, равная полному корыту рядом с колодцем. Из корыта пила скотина и голуби, курицы и воробьи, гуси, купались в корыте утята. У колодца крепилась к трубе широ-

ким раструбом воронка. Вода из ведра выливалась в воронку. В бане вода заполняла огромный чан из кедровой клёпки. Чан старинной работы режимными мастерами куплен в абанской артели ещё до Гражданской войны в двадцатом. В баню этот чан привезли, когда она была ещё срубом без потолка и пола, ни в одну дверь такой чан потом не впишнёшь. По настилу из толстых плах закатали мужики чан на стену и опустили внутрь будущей бани на землю, рядом с намеченным окном. Пол бани из сосновых плах подняли высоко над землёй, чан наполовину остался под полом, без труда черпай ковшом холодную колодезную воду. Дед звал меня с братом Петром в баню. Парил спину деду брат Пётр двумя берёзовыми вениками. Дед кричал от обжигающего пара, лежал на груди, вниз лицом на полке. Я стоял на деревянном тёплом полу, зажмурившись, терпел горячий пар, прижав кулачки к груди. Привыкал к пару, кожа влажнела. Брат Пётр давал мне веник, пока дед отдыхался на полке. И я понемногу приучился париться берёзовым веником, полюбил это занятие на всю жизнь. После парилки мы остывали на лавке в прохладном предбаннике. Потом мы мылись в тёплой бане вехотками из рогожи, намыливаясь хозяйственным мылом, обливались из таза летней водой. Брат Пётр выставлял меня в предбанник, закутывал в белую простынь и отдавал на руки бабушке, которую кричал через двор. Бабушка укладывала меня в горнице на перину, и я засыпал на кровати брата в высоких пуховых подушках.

За долгую жизнь парильщика я больше нигде такой бани «по-чёрному» не встретил. Печь под чугунным котлом осажена ниже пола на полметра, без труда можно брать черпаком с деревянной ручкой горячую воду из котла, отодвинув деревянный круг на котле. Сам кузнец, дед Василий склепал для бани печь из стальных пластин и толстых железных листов на манер русской печи с дымоходом из камней, обложил дымоход речными валунами до самого потолка, где имелась из жести вытяжка дыма, как в кузнице над горном. Пламя из печи раскаляло речные валуны из песчаника внутри дымохода. Дед сделал топку под чугунным котлом ниже пола бани, из огнеупорного кирпича выложил в топке печи под. Камень вокруг печи оберегает от возгорания бревенчатые стены. Перед печкой зияет пространство метр на метр – на полметра ниже пола бани. Внизу земля перед топкой печи, которая без обычной дверки, вместо неё жестяная заслонка, с железной ручкой на заклёпках.

Баня топится берёзовыми поленьями, угли прогорают, и зола выгребается из топки, чтобы избежать угара. Под печи подметается от золы голиком из берёзовых прутьев. Задвигается длинной палкой вьюшка в квадратной жестяной вытяжке под потолком, чтобы пар не вылетал в трубу. Баня топится «по-чёрному», брёвна тёмные от дыма и копоти. Тётка Валя ещё не замужем, живёт в доме деда с бабушкой и Петей. Вёрткая, подвижная, как цыганка в танце, чернявая красавица, вылитая лицом в свою мать-казачку. Как две капли воды похожая лицом на любимую бабушку Христину. Валентину я люблю за красоту, за певучесть, за озорство с парнями, за трудолюбие. Работящая будет жёнка. Валентина уходит в баню мыть стены от копоти, шоркает рогожей брёвна, моет их тёплой водой. Баню надо выдержать, стены должны обсохнуть. Каменка нагревается к вечеру, как любит дед. Смолистая дымка тонко щекочет ноздри. Я помогаю Валентине прибирать баню. Первым всегда идёт в сумерках париться дед Василий.

Водила в горячую баню больную женщину Валентина. Так требовал дед. Молитвы деда, колдовство над колодезной водой, парное молоко и жаркая баня исцелили в течение месяца женщину с Севера, уехала она вполне здоровая в Норильск. Вскоре пришла посылка из заполярного города Игарки. Подарки: тёплая рубашка деду, бабушке отрез на платье, Валентине нарядная заграничная блузка. И много шоколадных конфет. Дед Василий любил кисленькие леденцы. Денег не брал дед за целительство. Домочадцев же держал в ежовых рукавицах. Однажды сын Володька напился, утром просит:

– Батька, дай самогонки похмелиться.

– Дёгтя ему, старуха, налей, а не самогонки, – рассердился на сына Василий Павлович.

Володька заплакал:

– Батька! Ты хуже Берии! Чужим людям всё за так отдаёшь, а мы голодными из-за тебя выросли.

Внуков дед Василий любил. Дед всех внуков привечал, со всеми ласковый был. На майские праздники выдавал каждому внуку и внучке по синей пятирублёвой бумажке. Лечил дед любые людские хвори. В то памятное лето жил я восьмой год на земле. Приехал на лето к бабушке

в конце мая. Пришла пора пахать землю под картошку в огородах колхозников. Пётр трудился за ручным плугом, я верхом на гнедом коне Бичуке натёр всю задницу до крови. Искупался после горячего дня в запруде у моста. До Ивана Купала в речку лезть запрещают родители. В деревне мне некому запрещать купаться в холодной речке, возле запруды под мостом, рядом с братом Петром. Простудился, пошли чирьи. На спине, на ягодицах, на бёдрах. Страх божий, сколько высыпало прыщиков на теле за несколько суток. От боли спать перестал. Кажется, уже и с ума сходить начал от болючих чирьев. На рассвете бабушка пекла хлеб, будит меня ласковым голосом: «Иди, дед зовёт». Вышел я на крыльцо к деду. Редкий туман, постройки смазаны. И ударил первый луч солнца над тайгой с востока. Бабушка вынесла горячий каравай ржаного хлеба, вынутый только что из русской печи.

– Сймай портки, – повернул меня дед спиной к солнышку. – Нагнись...

Переломил дед хлебный ржаной каравай, дышащий жаром. Выщипнул жаркий мякиш из хлебного каравая. Скатал мякиш в ладонях, забормотал, заплывал по сторонам, обкатывая хлебным шариком каждый чирей. Хлебные катыши кидал старой суке, что жила в будке под огородным забором. К вечеру все до одного чирьи засохли и перестали болеть. Вылечил от чирьев родной дед Василий на всю оставшуюся жизнь. Сука во дворе одна. Щенков-кобельков дед растил для мяса и собачьего жира, лечил больные свои лёгкие, из шкур шил шапки-«кубанки». Серая сука, которой он скормил хлебные катыши, уже полуслепая, жила на десятом году, старше меня была. Скормил дед суке хлебные шарики по числу чирьев. От хлебного каравая одна корка поджаристая осталась. Ржаную корочку хлеба с парным молоком по сей день люблю.

Прожил дед Василий на земле до обидного мало. Умер от болезни лёгких. Умирая, наказал бабушке Христине:

– Всю скотину продайте. Иначе вся скотина передохнет...

Не поверила бабушка. Так и вышло, как дед сказал. Падёж скотины за полгода опустошил двор. Пришлось покупать стельную тёлку, брать у деревенских родственников ягнят. Птицу падёж не коснулся. Таким и запомнился родной дед Василий Павлович Шелях: высокий и крупный в кости; глаза карие, маленькие и колючие под крутым породистым лбом; брови мохнатые, вечно насупленные, будто жил человек неудовлетворенный людскими делами; запомнился дед в собачьей «папахе» из рыжих щенков, которую он не снимал зимой и летом. Запомнился опрятный и подметённый двор дедовской усадьбы. Корова, многочисленная живность, каждой твари по паре. Речка рядом – и утки и гуси водились. После смерти деда в шестьдесят шестом бабушка отпустила всех собак с цепи. Куда кобели ушли в тайгу, не известно. Но и в деревне их больше не видели люди. Старая сучка не покинула двора, и пришлось опять посадить её на цепь, чтобы не кидалась на скотину.

Издохла сука при мне, когда гостил на осенних каникулах. Петру я привёз в подарок породистого сеттера, рыжего щенка. В ноябре белковать, а собаки у брата нет, ушёл и промысловый кобель со двора после смерти Василия Павловича.

Брат не мог нарадоваться смышлёному сеттеру. Дал ему имя Туман. Охотился на уток Пётр с Туманом пять лет, погиб пёс под колёсами лесовоза. Брат с горя запил, чего никогда с ним не случалось до этой потери. Привёз я брату щенка такой же породы. Но брат уже второго Тумана не полюбил.

До Ильина дня, 2 августа, бабушка не вздувала огня в доме. Пользовались в тёмное время керосиновой лампой в «десять свечей». Стёкла к лампам берегли. Бабушка мне, попыху, не доверяла вздувать огонь. Вечеряли на кухне при открытом окне на двор. В лучах закатного солнышка над тайгой на западе. Снедали за кухонным столом в просветлённом сумраке старого дома. Под шОлканье ходиков на кухонной стене, при тёмных образах и горевшей под ними лампадкой в красном углу горницы. Бабушка Христина – родовитая казачка, дочь казачьего старшины Антона Пушкина из села Никольское. Веру православную в советское время в таёжных деревнях сохранили люди. С верой в Бога, с Божьей помощью лечил людей и дед.

Утром усадьба пустела от скотины, выгнанной со двора в стадо пастись. Гуси паслись на травке за домом на лугу, утки купались в корыте у колодца. Гуляющих по двору и под навесом куриц дед не терпел рядом с кузницей. И бабушка отпускала куриц на волю в огородчике. Наша скотина никогда не бродила по деревне бесхозной. В обычае деревенских выпускать и свиней, и гусей, и куриц на

летнюю волю. Наши вольно и беспризорно не гуляли. Пасти на лугу гусей, смотреть за молочным телёнком, который привязан на длинную верёвку к колышку, доставалось мне. И после смерти деда порядок сохранялся. В жару и голубей не видно.

Вечерком воздух синел, и в лампадном свете угасающего дня, в настежь растворённое кухонное окно, со двора тянуло сухим тёплым воздухом от построек, прохладой и сыростью из близкой тайги, слышался от хлева до крыльца сытый вздох подоенной коровы, успокаивались курицы, голуби под карнизом.

В такие вечерние часы зрелого лета воздух горницы наполнен мёдом и ладаном, дымком отдаёт от чугунков на загниётке русской печи за цветной шторкой. Пахнет на кухне парным молоком из кринки и спелой рожью от хлебов на столе; свежим огурцом и сладкой морковиной.

Замирает тайга. Отходит ко сну таёжная деревня. Отдыхают от трудов великие труженики брат Пётр и моя любимая бабушка Христина Антоновна, чернявая сибирская казачка. Пора и мне на сеновал. Двор светел, видится с сеновала до городьбы огородчика, полного зелёной морковной ботвы, зреющими помидорами на кустах, под забором на земле грядка огурцов; весной бабушка кидает в сырую землю и семечки: подсолнухи на долгих былинах солнечными блинами светятся в сумерках. По-хозяйски строено, по-людски век содержится усадьба: не повалено, не мурьей.

Жил я у бабушки каждое лето. Косил сено, пропальывал и окучивал тяпкой двадцать соток картошки, пастушком гонял общественное стадо коров, когда подходил черёд нашего двора.

Прошла годами Революция. И Гражданская война партизанским фронтом в деревню Бойню упиралась в двадцатом годе. Бойней до двадцатого года звался Зимник. Побили тьмы народа в Великую Отечественную войну с немцами. Обезлюдели без мужиков деревни сибирские. Ушли бессмертные сибирские полки в вечность. Ушло в вечность столетие. Закончились два тысячелетия от Рождества Христова жизни людей на земле.

Минул век людской стороной и своим порядком. Своей мерой и своей правдой. Ушли своей чередой, будто и не жили на земле, прадеды и деды, наши отцы, преобразовавшие лицо земли и «губившие» жизнь. Дурная и добрая кровь времени. И этот красно-пегий телёнок в зеленях словно пришёл в день текущий из века прошлого. И не осмыслить, не собрать воедино Замысла Божьего нашего присутствия на Земле.